

Э. Г. Александренков

ПОЧЕМУ Я НЕ ТЕОРЕТИК

Прежде всего, выражаю благодарность С.А. Арутюнову и Г.Е. Маркову за то, что они сочли возможным откликнуться на мою статью. Далее, два аспекта меня беспокоили в связи с отзывами. Первый – насколько рецензентам показалась нужной попытка разобраться в том, что понималось и понимается под теорией в нашей науке. У Г.Е. Маркова постановка темы не вызвала сомнений, а С.А. Арутюнову вопрос о том “что есть теория в этнографии” представляется “не столь уж важным”. Вторая сторона дела – оценка рецензентами того, насколько полно я охватил наши представления об этнографической теории, и как я их интерпретировал. Оба автора предпочли больше места уделить изложению собственных взглядов, чем анализу моего текста, что, конечно, расширило тему, обозначенную в моей статье.

Несколько других соображений. Я не упрекал авторов учебников, а лишь отметил факт, что в учебнике, поменявшем в своем названии слово “этнография” на слово “этнология” (среди его авторов был я сам), как и в других пособиях, носящих название “этнология”, не нашлось места для мысли о том, что в предмет науки входит также теория самой науки. Если, как пишет Г.Е. Марков, историкам-первокурсникам “не до теории”, зачем нужно менять название учебника, тем более, при различных “этнографиях” и “этнологиях”. На мой взгляд, такая смена “этикеток” лишь одно из свидетельств поверхностного отношения к понятийному аппарату в нашей науке. И в том, чтобы оно было в меньшей мере таковым, как раз и нужна “игра ума”, польза от которой будет не меньше, чем от “теоретических исследований в решении конкретных этнологических явлений” (Г.Е. Марков). По этой же причине не могу согласиться с приведенным выше мнением С.А. Арутюнова относительно значимости изучения того, что есть теория в этнографии.

Я остаюсь на той позиции, что в отечественной этнографической литературе мало размышлений о том, что такое теория в нашей науке. Мало также собственно этнографических теорий. Это, пожалуй, лишь теория этноса; что касается первобытного общества, о котором много написано российскими этнографами, и других тем, названных Г.Е. Марковым и С.А. Арутюновым, теоретические изыскания в них не являются лишь этнографическими. Уместно задаться вопросом, почему так происходит. Чтобы попытаться получить наиболее точный ответ, задам вопросы себе. Почему не всегда у меня возникает потребность рассуждать о собственной науке, почему не участвую в размышлениях о ней? Или, иначе, почему я не теоретик?¹

В начале научной деятельности смысл познания видел в поиске истины, не задумываясь о том, что такое “истина” и в чем заключается ее поиск. Хотелось хорошо знать что-то, как правило, малое, “общие законы” не интересовали. Познавал в рамках одного видения мира, марксизма-ленинизма. Со временем узнал о разных марксизмах, познакомился с многообразием идей в зарубежной этнографии, увидел разнообразие толкований одних и тех же фактов; тем не менее, все еще считал, что возможно лишь одно правильное объяснение.

Не вспомню, когда перестал искать истину. Стало больше тянуть к узнаванию самого процесса познания и понимания. Постепенно пришел к выводу, что нет какой-то одной, будто кем-то заданной, истины. Есть реальность, сумма явлений (предметов, событий, институтов и связей), зыбкая, постоянно меняющаяся, которая познается зыбким же, постоянно в процессе изменений, мышлением. И мне, в основном, не хотелось упорядочивать познаваемую реальность в моей голове, то есть, в конеч-

ном счете, объяснять, строить теории. Почему? Можно было бы сказать, что у меня не сложилась привычка абстрактно мыслить, нет вкуса к этому, и объяснить это причинами субъективного порядка, связанными с воспитанием, в первую очередь. Но есть и другая сторона вопроса.

Помимо внутренней потребности в публичной научной рефлексии должна иметься возможность высказывания своих мыслей “вслух”. Частично отсутствие у меня (и, вероятно, у многих других) заряженности на рефлексию можно объяснить особенностью условий, в которых длительное время развивалось наше теоретическое мышление, которое было направляемо (“руководимо”) сверху в рамках одной общей идеи. Но в настоящее время отсутствие вкуса к теоретизированию нельзя видеть только в однолинейности мышления в прошлом. Можно допустить, что большинство этнографов вообще не считает теорию стоящим делом, следуя в общих вопросах за формальными лидерами после понятийной атаки с их стороны. Наиболее показательные примеры – увлеченность проблемами “этноса” во времена Ю.В. Бромлея и “идентичности” позже. Кроме того, до недавних пор в институте не было семинара, который в прежние времена отваживался называть себя теоретическим. Можно спорить о том, хорош или плох он был, была ли в нем теория или нет, стоящая она была или пустая, но сейчас и спорить не о чем.

Еще одна возможная причина отсутствия тяги к теории у меня – отношение формальных лидеров в этнографии к “другим”, не официальным теоретикам (можно поставить слово в кавычки, дело не изменится). Оно, увы, далеко не постмодернистское, предполагающее многоголосие мнений. Достаточно посмотреть “Введение” в упомянутой книге директора ИЭА РАН, чтобы с сожалением в этом убедиться: пренебрежительный тон в отношении к некоторым коллегам, подчеркнутое сомнение в их компетентности и пр. Были случаи, когда и товарищи по работе скептически относились к моим попыткам что-то осмыслить.

Несколько слов об увлечении тем, что называют постмодернизмом. На мой взгляд, это увлечение выражает настроения “средних масс”, не имеющих возможности неспешно размышлять и строить объяснения мира. Генерализирующие схемы вызывают подозрения, потому что средний ум знает, чувствует на себе, что такие схемы часто не работают. Появление постмодернизма, как отрицания т. н. глобалистских объяснений, можно считать мыслительной реакцией на рост объема знаний о мире со стороны среднего человека, среднего не только в социальном отношении, но и в интеллектуальном (отношу себя к последним). Постмодернизм, в конечном счете, это апология обыденного, рядового, обывательского, представляющая в форме отрицания научности, понимаемой как поиск одной истины. Ясно, что дух такого мировоззрения не способствует занятиям общими вопросами.

То есть, на мое неумение теоретизировать, вызванное тем, что меня этому не учили и я этого не хотел, позже наложилось такое состояние, когда мои попытки теоретизировать не приветствовались (в ИЭА РАН) или вовсе не требуются (веяния постмодернизма). Во всех этих ситуациях отсутствовало то, что можно назвать интеллектуальными стимулами. Вот, пожалуй, главное в моем ответе. А к написанию статьи о теории в нашей этнографии меня подвиг студенческий вопрос о том, чем отличается теория от гипотезы. Порадуемся тому, что молодых людей посещают вопросы подобного рода, и что эти вопросы провоцируют нас на “игру ума”.

Примечание

¹ За 30 с лишним лет работы в институте только один раз моя статья попала в раздел “Вопросы теории” журнала “Этнографическое обозрение” (Александренков Э.Г. “Этническая идентичность” или “этническое самосознание” // Этнограф. обозрение, 1996. № 3). Явно неоправданно В.А. Тишков включил меня в разряд “записных теоретиков” журнала (Тишков В.А. Реквием по этносу. М., 2003, С. 14). Кроме того, его замечания в отношении меня не имеют оснований: в данной статье нет ни слова о “патриархе кубинской этнографии”,

которого я будто бы только и цитирую; я не критиковал в ней (как, впрочем, и в других местах) конструктивизм и постмодернизм; в статье не упоминались работы В.А. Тишкова (соответственно, я не “получил кураж” от “полемики вокруг фраз В.А. Тишкова”, как утверждает Валерий Александрович).

E. G. Alexandrenkov. Why I Am not a Theoretician

In a reply to the commenters, the author clarifies his position and further explicates his view why reflecting on what constitutes a “theory” is beneficial to the discipline. He briefly touches on the development of his own scholarly interests and explains what made him ponder over the subject.